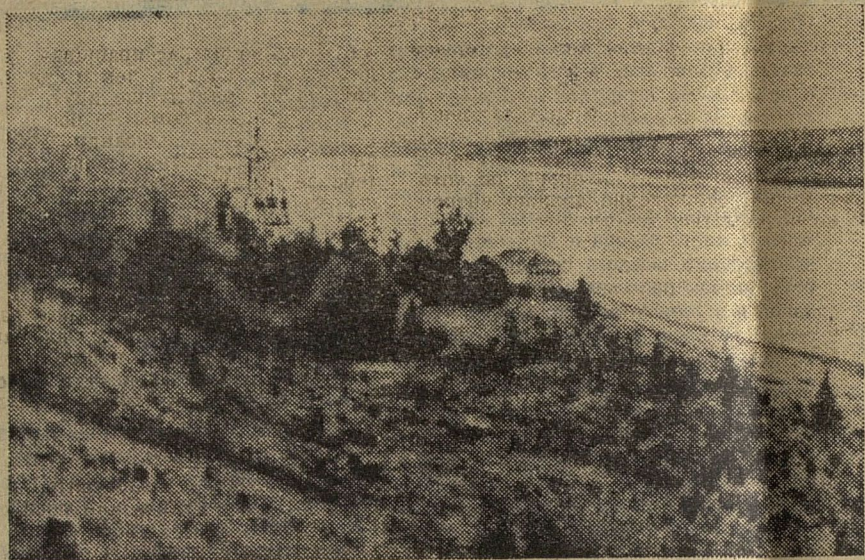




И. ЛЕВИТАН. «Вечер, Золотой плес», 1889.

рассказ

СОРОКОВАЯ ПЬЕСА

НА ИСТЕРТЫХ булыжниках московских мостовых дребезжали уже извозничьи пролетки, на деревьях и кустарниках набухали почки; где-то в старой усадьбной роще с домовитым криком шумели грачи, но Александр Николаевич не находил в городской весне ни прелести, ни отрады после долгой хлопотливой зимы. Мысли его летели далеко — туда, за Волгу, в любимое Щельково. Он ходил бледный, друзья, скрывая тревогу, беспокоились за его здоровье.

— Теперь у меня одно желание, — отвечал он им, — только бы дожить до отъезда в Щельково, а там я отдышусь и воспряну телом и духом.

Наконец-то пришло долгожданное время ехать в любимый заводской уголок. Произведены закупки, даны наказы, закончены сборы.

Друзья проводили на Северный вокзал, удобно устроили в поезд, и драматург, разменявший уже давненько пятый десяток лет, покотился отдыхать по новой, недавно открытой дороге Москва — Иваново — Кинешма, дающей центрально-промышленному району еще один выход к великой русской реке. Это был теперь самый близкий путь до Щелькова, и Островский с тех пор ездил отдыхать только через Кинешму.

Май уже на исходе. Самые долгие дни и самые короткие ночи. Майская ночь быстро миновала в вагонной дреме. Ранним утром поезд подкатил к фабричному Иваново-Вознесенску. Не губернский, не уездный, но большой промышленный город, в котором властвуют безраздельно ситцевые тузлы и, все подчиняя рублю, покупают и рабочие руки, и совесть, и честь, и любовь.

С вагона-платформы толпа оборванных людей сгружает исполнительские части новой паровой машины, стало быть, еще один делец переводит ручное производство на машинное.

Близко к полудню в окнах вагона замелькала в досягаемом зрением далеке Вичуга. У высоких заборов, окружающих фабрики, вичугские мужички пахнут еще свои полоски, каким-то чудом сохранившиеся в неудобном соседстве с мощным механическим производством. Из деревень, деревушек и слободок мужчины и женщины то одиночками, то группами спешат к фабрикам сменять тех, кто стоит у станков с трех часов утра.

Неторопливо уходит куда-то в сторону состав из товарных вагонов. Кто-то из пассажиров интересуется, куда это он поплелся, не прошла ли, мол, тут еще какая железная дорога, и получает короткий и пренебрежительный ответ:

— Да это просто подвозят вагоны с хлопком прямо на фабричный двор... Коновалов не только железную дорогу к себе изогнул, но и вет-

ку к своим складам протянул, от всех гужевых перевозок избавился...

Александр Николаевич вспомнил недавняя история с проведением железной дороги Москва — Кинешма, прошумевшая тогда на всю Россию. Трасса будущей железной дороги была уже намечена в семи верстах отсюда, но Коновалов не пожалел денег на взятки, в результате чего строители сняли вещи с первой трассы, наметили вторую и продолжили полотно всего в одной версте от его крупного предпринимательского предприятия. И сейчас, взглянув на карту области, можно заметить значительное искривление железнодорожного пути около Вичуги.

Дело получило широкую огласку, передовая общественность того времени шумела, требовала суда, предказывала виновнику чуть ли не пожизненное заключение, даже ходили слухи, что его «закладут в каменный стол», но крупнущие взятки постепенно притушили это дело и предали его тихому забвению.

Коновалов имел на Волге великолепное «Отрадное», неподалеку от него вторую фабрику (отделочную) и был городским головой в уездной Кинешме; Вичуга входила тогда в Кинешемский уезд. Жил он то в местечке Бонячки, около своей предпринимательской громадины, то проводил свои разгульные дни в красивой Кинешме, то в «Отрадном», до которого от нее всего было с десяток верст.

Поезд порастерял своих пассажиров по дороге от Москвы. Много их он высадил в Вичуге и остался полупустым. Время, отведенное на остановку, миновало, а он все стоял и стоял. Провожающие и гуляющие, любители поглазеть и поточить языки, заскучали и разошлись, даже небольшое станционное начальство куда-то подевалось, а поезд не двигался.

Пассажиры возроптали. Те, которые спешили к пароходам, вышли из вагонов узнать, в чем причина задержки, но на перроне прохаживался один только жандарм. «Скоро, скоро пойдете!» — отвечал он всем на беспокойные вопросы и советовал «потерпеть один секунд».

Но вот жандарм отмахнулся от назойливых пассажиров и вприпрыжку пустился обходной дорожкой за вокзал. Там слышался стук подков по булыжнику, храп резвых лошадей, окрики кучеров, потом прошел носильщик с тяжелой поклажей, а немного погодя неторопливо и важно прошествовал солидный, молодящийся фабрикант в сопровождении целой свиты разряженных мужчин и женщин.

За ними шел жандарм и, отвечая на вопросы, сбивчиво и сердито говорил:

— Счас отправляем... Да, да, они изволили прибыть! Как это кто? Да это же Иван Коновалов! Богатеющий фабрикант! Наипервейшая гильдия! Что-о-о? Как это задержал? Кем это, рыло, тебе сказано? Бараня сказала?

Ка-акая такая бараня? Ах, это вы? У вас, значить, часики имеются? Задержка, говорите, на несколько минут? Эх-ка, скажите, на милость, беда-а... А куда вам горючиться? В Кинешме скоро будете... До нее всего ничего отсель — один час езды по чугунке-то, а там упретесь в Волгу, а дальше ее, матушки, поезд никуда не пойдеть: тупик-с!

В вагоне второго класса, где ехал драматург, молодой человек в темно-зеленой тужурке, взглянув на часы, возмущенно протянул:

— Почти на десять минут задержал этот паразит! К дневному пароходу теперь уж, пожалуй, опоздаешь... Мало того, что совсем скривил дорогу, он еще и хозяйничает тут.

В Кинешме, на привокзальной площади, к Островскому соколом подлетает Яков, известный здешний троечник, низко кланяется, молодецки встряхивает черным чубом, лихо выпущенным из-под кучерской шляпы.

— До Щелькова, Александр Николаич, прикажете? Доставим в один миг! Тройка у меня — огоны! Левую пристяжку новенькую подобрал: вихорь-конек...

— Вот вихорь-то нам и не особенно подходит, — устало и неторопливо отвечает Александр Николаевич, разглядывая, как фабрикант со своей свитой рассаживается в поданные к поезду кареты. — Растрясешь ты меня, Яков, своим вихорем так, что кости свои места потом не найдут.

— Не вам бы говорить, не мне бы слушать! Я завсегда доставлял вас в полном здравии! Да и с чего это вы так заговорили?

— Годы, годы, дружок! Годы большие... Я уже вот сороковую пьесу собираюсь писать. Легко сказать — сороковую! А сороковая пьеса для нашего брата, как сороковой медведь для охотника!

— Годы ваши зрелые, что говорить, но мы тоже не без понятия... Нынче вот смекнули пристяжку сменить! Гляжу-погляжу: с запальцем стала, поспевает... Да крепонько и поспевает-та...

— Да-а, всяк своим болеет, — вслух думает драматург. — Я о пьесе, а ты о пристяжке... Надорвал ты ее случайно где-нибудь, Яков!

— Надорвал, Александр Николаич, истинно надорвал! Вот как хорошо вы все понимаете, правильные ваши слова! Да, был такой случай, был! На свадьбе тут у одних тонул сломая голову и запалил лошадку-та... А вы взгляните в новенькую! Это уж, как говорится, есть подлинно конек! А идет как — глядишь не поглядываешь. Чу-уд! Головку крепделем и лисой по земле стелется.

— Да, видать, что хороша. Удачная животинка. Нчу, трогай, Яков, но только гони потише!

— Мы, Александр Николаич, тихонько, осторожненько, но попорочнее... Как на крылах ангельских... Заезжать в Кинешме никуда не станем? Насчет навестить кого или заправиться на дорожку?

— Нет, нет, я вот отдохну дома да в Кинешму и соберусь, а сегодня давай прямо!

Тройка Якова легким плавным скоком проходит тихой Кинешмой, шагом, чуть не приседаая на хвосты, спускается с горного берега к перевозной пристани и останавливается на берегу Волги в ожидании медлительного парома.

Будущий, еще не родившийся тогда поэт через полвека напишет о поездке драматурга в Щельково большое стихотворение, в котором будут такие строки:

Волги размах могучий,
Кинешма, перевоз.
Сосны, овраги, кручи —
Он их любил до слез*.

— Все растет, все зеленеет, — оглядывая берега, медленно говорит Александр Николаевич. — Весна нынче благодатная!

— Солнышко греет, дожжики идут частенько — вот от этого и благодать, — бойко поддерживает разговор Яков. — У нас, Александр Николаич, так говорят, что не только земля родит, но и небо! Не жди, говорят, урожая, ежели небушко не разверзится!

* Дм. Семеновский.

хорошими дождиками да не...

— Твоя правда: небо вовремя не польет да не погreet — земля не уродит. Ну, а что нового в Кинешме, Яков?

— Да многожко разных разностей наберется, ежели все припомнить да порассказать. Полотнянщики Талановы вылетели вот в грубу и опанкрутились. А почему и отчего? Все ловкие-то из ихнего брата машины завели, а Талановы не похотели. Столоверы они, машины бесовским наваждением посчитали...

— Столоверы, Яков! — поправляет Александр Николаевич. — Поборники старой веры...

— А мы столоверами зовем, потому как они стоят на своем и ни под каким видом ни в чем не уступают. Все готовы потерять за свою веру, а по мне — что ихняя, что церковная... Но вот насчет машин они маху дали. Те, которые с машинами, съели их не посолая... Тут кто кого. Одня одного втихомолку валит, другой другого прямо подножкой бросает... Грабят, грабят; а потом загуляют совместно, будто они дружки и задушевные приятели. Тут и нам зевать не приходится...

...дерешь безо всякого зазрения совести, знаешь, что денешки у них бешеные. Тут гуляли-гуляли скопом да одну красивую дамочку сгоряча и конкнули наповал.

— Как это «конкнули наповал»? — ошеломленный таким оглушительным сообщением, растерянно спросил Александр Николаевич.

— А так что из пистолы в самое сердце.

— Суд был? Или еще не было?

— Скоро, говорят, станут судить, но только одного мужа — он пристрелил, но не он тут был главным законоперчиком...

— А кто же был главным?

— Ежли подумать хорошенько, так тут не разбери-бери, что и вышло... Началось-то положила разная беззодная мелочь, которая, ломая ногти, лезет в большие, а краем к ней примешались такие тузлы, про конх молвить страшно: жевнут и проглатят.

— Кто? Кто же это, Яков?

Бойкий кинешемский троечник хмурится, молчит недолго и отвечает резкой скороговоркой:

— Будете в Кинешме — вам все в десять раз лучше расскажут, а нам не полагается, мы сами-то поживнись охотники к около таких больших воротил кормимся, а они не больно любят, когда мы языки распускаем.

Наше дело такое: гляди лошадам в хвосты, получай за резвую доставку «катеринку» и помалкивай.

— Где же это произошло, Яков?

— Стрельба-та? Вот возьмите глазом левее тесовой постройке меж старых дерев... Тут это самое и было недалеко от фантала с ангелом...

Островский долго оглядывает городской бульвар, растянувшийся по высокому обрыву над Волгой.

Подосел паром. Яков под уздцы ведет ретивую тройку. Волга весенняя многоводна, лучезарна и светла. Горные солнечные лучи дробятся в переливчатой игре мелких струек, от воды поднимается приятная свежесть, от парома пахнет разогретой смолой, лошадиным потом и оздоровляющим дегтем крестьянских телег.

Островский полулежа сидит в тарантасе и любуется горным берегом Волги, на котором красуется солнечная Кинешма. Там уже все знают, что сегодня с московским поездом приехал, направляясь в свое любимое Щельково, Александр Николаевич, и многие видят, толпясь на краю бульвара, знакомую тройку Якова, уходящую с парома в лесное заволокне, и силуэт знаменитого драматурга в ямщикском тарантасе.

По отлогому песчаному откосу тройка выходит на древний глухоманный Галицкий тракт и рвется вперед, натягивая вожжи и постромки.

— Сколь положим, Александр Николаевич, на дорожку: часа полтора аль все два? — спрашивает троечник, подтягиваясь и загораясь жаждой быстрого движения.

— Да клади все три! Я уже говорил, что хочешь потише...

— Так ведь ежели мы эдак-то поедем, так нас любая пеша вошь обгонит, а я не люблю, когда меня обгоняют! Да тут и всего пятнадцать верстов...